

■■■■■■■■■■

**Самозванство  
как явление в  
художественном  
мире Гоголя**

■■■■■■■■■■

This work aims to regard the “samozvanstvo” in the Gogol’s work as a phenomenon, not only historically and culturally associated with Russian history, but also a distinctive feature of the Russian spirit, associated with the desire to find oneself in the “other”, to disappear in the “other” or to find a firm stronghold in this mirage. This work elaborates on the beginnings of several basic paths of metamorphosis that the phenomenon has undergone in the works of Puskin, Gogol and Dostoevsky.

“SAMOZVANSTVO”, GOGOL,  
PHENOMENOM, METAMORPHOSIS

Данная работа имеет целью рассмотреть феномен самозванства в творчестве Гоголя как явление, не только исторически и культурологически связанное с русской историей, но и отличительное свойство русского духа, связанное с желанием найти в «другом» себя, скрыться в «другом» или найти твердую опору. В работе делается попытка наметить, как явление проходит через метаморфозу в творчестве Пушкина, Гоголя и Достоевского.

САМОЗВАНСТВО, ГОГОЛЬ,  
ФЕНОМЕН, МЕТАМОРФОЗА

Довольно часто человека настигает неминуемый вопрос, требующий ясного ответа: кто я такой, я ли так поступил, я ли это? Наступает необходимая ревизия, когда веки провидчивого Вия поднимаются и око, пронизывающее душу насквозь, испепеляет человека, не нашедшего себя и опоры и затерявшегося в глубинах своего сознания, обнаруживает самозванца и выносит вердикт: «Вот он! – закричал Вий и уставил не него железный палец» (Гоголь 2009а: I, 467).

Самозванство представляет не только культурно-историческое событие, чаще всего подразумевающее период смутного времени, отмеченного разного рода узурпаторами и посягателями на царский престол, а именно феномен духовного поиска, брожения личности, пытающейся укорениться в иллюзорных идеях и идеалах, раствориться в группе, – личности, самонарекающей себя другим, посторонним именем и пытающейся отметить в истории мнимым именем, затмив свое же, или самозванец – это просто выскочка, уверовавшая в свое царское происхождение, аномалия истории, которая «начинает жить и действовать во имя чего-то и от имени чего-то» (Тульчинский 61), пытающаяся выкроить свою судьбу и испытать счастье. Самозванство помимо всего прочего является результатом расшатанности безнравственной эпохи, бездуховности и завышенных притязаний отдельной личности, заявляющей о своих правах и отстаивающей свою «лжеотмеченность», что проявляется не только в попытке воцарения, но и в желании занять место, которое не принадлежит отдельной личности, наделяющей себя правом решать и вершить суд по своему хотению.

Гоголь, несмотря на неудавшееся поприще историка, весьма точно мог оценить значимость исторических явлений, когда под кажущейся неподвижностью или бессмысленностью событий

кроется внутренняя сообразность и закономерность, которая коренится в самой необходимости непонятных человеку происшествий: «Всеобщая история, в истинном ее значении, не есть собрание частных историй всех народов и государств без общей связи, без общего плана, без общей цели, куча происшествий без порядка, в безжизненном и сухом виде, в каком очень часто ее представляют. Предмет ее велик: она должна обнять вдруг и в полной картине всё человечество» (Гоголь 2009б: 33). Гоголь, описывая любое явление, пытался возвыситься над событием и тяготел к более глобальному осмыслению и нахождению первозаданных основ и причин, чтобы каждая краска на картине была как можно убедительнее, чем бы создавалось более внушительное впечатление от композиции в целом, объясняя при этом, что «нельзя узнать совершенно город, исходивши все его улицы: для этого нужно взойти на возвышенное место, откуда бы он виден был весь, как на ладони» (Гоголь 2009б: 36).

В самом корне самозванства лежит желание судить, правом которым наделяется премудрый Соломон: «И сказал Соломон: “Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять этим многочисленным народом Твоим?” <...> И сказал ему Бог: “За то, что <...> просил себе разума, чтоб уметь судить, Я даю тебе сердце мудрое и разумное <...> и то, что ты не просил, Я даю тебе: и богатство и славу <...> И если будешь ходить путем Моим, сохраняя уставы и заповеди Мои <...> Я продолжу дни твои”» (3 Цар. 3: 9–14). Желание быть Судией, внушать страх и робость, вызывать трепет и повиновение безоговорочностью своего суда является одним из труднейших искушений в истории человечества, калечащих и дегуманизирующих самозваного обладателя и вскрывающих изъяны в его психике.

В некоторых исследованиях предполагается, что «задолго до самозванства в Москве таковое явилось в свет, если согласиться с церковными авторами, в Пскове (вторая половина XIV – XV в.), в религиозном движении стригольников, которые выступили против симонии» (Смирнов 197–198). Но тема самозванства появляется намного раньше, она находится в глубинных пластах мироздания, где разворачивается картина, на которой светлоносец Люцифер, уверовавший в свое богоподобие, совершил беззаконие актом восстания и пошатнул основы мира, что привело к помрачению света, заложенного в нем изначально и к трагическому падению этого величайшего самозванца и изгнанника небес. Перед нами открывается трагический лик падшего ангела, вскрывший, с одной стороны, всю ложность притязаний и несостоятельность будущих самозванцев, всех «подобных», но не настоящих и избранных, а сапровозглашенных и самозванных и, с другой, вековечную потребность любого живого существа, даже носителя непомерной гордыни, устремиться ввысь в желании стать лучшим в образе другого. Трагедия Люцифера – это печальный удел любого самозванца, осужденного не извечную внутреннюю борьбу «без торжества, без вдохновения», когда уста навеки обреченного «искусителя провидения» лепечут:

*Чтобы в толпе стихий мятежной  
Сердечный ропот заглушить,  
Спасть от думы неизбежной  
И незабвенное забыть! (Лермонтов 251)*

Явление самозванства выглядит иногда крайне труднообъяснимым и спонтанным, но оно имеет в себе исторические и психо-

логические причины. Да и сама Россия проходит через большое искушение самозванства: «Рим пал, но мы стоим, и мы Рим» (Тульчинский 268), – со временем эта идея крепнет и утверждается как безоговорочное положение, намекающее на исключительную и ведущую историческую роль, где «четвертого уже не будет». С исторической точки зрения, кончина последнего потомственного царя Федора Иоанновича привела к затуханию династии Рюриковичей и стала введением в смутное время государственного правления и, как писал Ключевский, «у нас с легкой руки первого Лжедмитрия самозванство стало хронической болезнью государства» (Ключевский 26). Родословная уже не играет роли и престол упразднен до восшествия Бориса Годунова, главной слабостью которого было его «худородство», клеймившее его с самого начала и лишившего оплота бояр:

*Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,  
Зять палача и сам в душе палач, Возьмет венец и бармы Мономаха... (Пушкин 1950: V, 222)*

Появление же Лжедмитрия является естественным историческим продолжением развенчания царской власти, которая в образе Ивана Грозного могла грозно-величавым голосом сказать Андрею Курбскому: «Кто убо ты постави судию или владетеля надо мною?» (Переписка 19) Власть Ивана Грозного была оправдана царским предназначением, и, даже отрекшись несколько раз от престола, он не теряет ореол божественного избранника, но сохраняет безусловное право на царскую власть<sup>1</sup>. В *Борисе Годунове* чутье как и всегда не подводит Пушкина, и он наделяет узурпатора тремя именами: Гришка Отрепьев, Самозванец и Дмитрий,

**1**  
«Не поведение, – утверждает Успенский – но предназначение определяет истинного царя; поэтому царь может быть тираном (как, например, Иван Грозный), но это ни в коей мере говорит о том, что он не на своем месте. Итак, различаются цари по Божьему промыслу и цари по собственной воле, причем только первые признаются “царями”» (Успенский 146).

– среди чего стирается образ самого героя, остается лишь «лже-имя» героя навеки выписанное на скрижалях истории. Трагедия Лжедмитрия состоит в том, что он в истории остался под чужим именем, где имя Гришки Отрепьева сохранилось лишь как неполноценный придаток. И грозно отзванивают слова самозванца в Борисе Годунове, полные не слепой прихоти истории, а именно заступничеством провидения:

*Тень Грозного меня усыновила,  
Димитрием из гроба нарекла,  
Вокруг меня народы возмутила  
И в жертву мне Бориса обрекла. (Пушкин 1950: V, 284)*

В один ряд с ними входит дерзкий и решительный Емельян Пугачев, встряхнувший в одночасье царством и превратившийся из выпоротого мужика в великого государя Петра Федоровича. Вера Пугачева в свою царскую неуязвимость выльется в диалоге: «“Берегись, государь – сказал старый казак, – неравно из пушки убьют”. – “Старый ты человек, – отвечал самозванец, – разве пушки льются на царей?”» (Пушкин 1951: VIII, 165) Не это скажет великий бунтарь, пытавшийся переиначить историю, когда после удара по лицу, он встанет на колени и будет просить помилования.

Самозванщина в психологическом ключе подразумевает навязывание себя другим, сугубое представительство и надевание мантии чужого имени вместо своего. Она грозит возможностью растворения своего имени и собственного я, что далее ведет к двойничеству и утрате сокровенно личностного, но в то же время это поиск опоры несостоявшейся личности и попытка за иллюзией сохранности «чужого» обрести потерянное «свое». Неизжитый

ген самозванства, унаследованный еще со времен Люцифера с его притязаниями занять место Бога, видоизменяется, но все же велик в вожатых истории Гришке Отрепьеве и Емельяне Пугачеве Пушкина, осужденных скрывать свое настоящее я под чужим именем, но занижается во всех мелких самозванцах Гоголя уже без какой либо величавости, проявляясь в желании «быть не тем кем ты есть», «комплексе неполноценности», «желании стать лучше», «прийти к власти», что приводит к помешательству и расколу в сознании. Власть поистине несет в себе нечто демоническое, оттого и городничий в Ревизоре говорит своей жене, ожидая свадьбу Хлестакова и своей дочери: «Фу ты, канальство с каким дьяволом породнилась» (Гоголь 2009а: IV, 287).

Гоголь сам верил в божественную избранность царя, безоговорочность его власти и безошибочную установленность государственного устройства свыше, потому в его словах выражено трепетное и чувствительное обожествление монарха:

*«Кажется, как бы в этом стихотворении Пушкин задавши вопрос себе самому, что такое эта власть, сам же упал во прах перед величием возникнувшего в душе его ответа.<...> Поэты наши прозревали значение высшее монарха, слыша, что он неминуемо должен, наконец, сделаться весь одна любовь, и таким образом станет видно всем, почему государь есть образ божий, как это признает, покуда чутьем, вся земля наша. <...> Высшее значение монарха прозрели у нас поэты, а не законоведцы, услышали с трепетом волю бога создать ее [власть] в России в ее законном виде, оттого и звуки их становятся библейскими всякой раз, как только излетает из уст их слово царь» (IV, 41).*



Упрек Гоголя падал не на государственное устройство и правительственную жизнь, о чем ясно говорит финал Ревизора, олицетворяющий торжество правды с легкой руки бдительной власти, но на каждого отдельного человека, отступившего от истинного образа и погрязшего в болоте слабостей, личность которого разделяется между желанным и действительным, потенциальным и реальным. Желание «не быть самим собой» породило целую рать духовных самозванцев с завышенными претензиями в художественном мире Гоголя, о чем он пишет в *Выбранных местах*: «Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить, во что бы то ни стало, другого, отомстить за пренебрежение, за насмешку» (IV, 442).

Маскарад на Невском проспекте дает самобытную картину безликого общества, стремящегося выставить напоказ все свои добродетели, эфемерное царство людей, лишенных любых черт человечности:

*«Один показывает щегольской сюртук с лучшим добром, другой – греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая – пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый – перстень с талисманом на щегольском мизимце, шестая – ножку в очаровательном башмачке, седьмой – галстук, возбуждающий удивление, осьмой – усы, повергающие в изумление» (III, 11).*

И если приглядеться, можно увидеть какое-то значительное лицо, одурманенное своим генеральством и расхаживающее с визитами к господину Носу, или где-то в толпе мелькнувшего невзрачного и всеми унижаемого Акакиевича Акакиевича, в предвкушении

переписывания спешащего при жизни в свой департамент. А Невскому проспекту, этакому самозванцу, громко заявляющему о себе в сердце Петербурга, нет дела, как и гуляющим по нему квазиличностям, – он «сам по себе», как говорит нос майора Ковалева, как могли бы сказать все, погруженные в тяготы обнаружения «своего места», что воспринимается в мире гоголевских персонажей исключительно в поиске поприща на государственной службе: вере в ленту, орден, фалды и чин. Но на Невском проспекте «все не то чем кажется»: изображается своеобразный антимир, обнаруживающий превратность, обратимость, переход из одного состояния в другое, где проявляется величие в ничтожестве, и личность переходит в неличность.

Можно выделить в толпе одного коренного самозванца поручика Пирогова, который могучей грудью вдыхает отравленный воздух, нахально циркулирует по Невскому проспекту и за разговором случайно намекает на свой новополученный чин. Потаенное желание поручика увидеть себя на холсте в мужественной позе – разве это не еще одно доказательство самозванства, говорящее о внутренней слабости, которая выдает себя за внешнее мужество, величавость и уверенность. Страшный в своем ничтожестве Пирогов, довольно легко забывающий о нанесенной обиде не себе и своей личности – в этом мире собственное я это лишь обветшалая форма – а своему офицерскому чину, не знает, что ответить на утверждение Шиллера: «Что такое офицер!» (III, 32) Люди как Ковалев, Чичиков и значительные лица за оскорбление воспринимают только посягательство на чин и звание: произошло полное отождествления личности и звания, как в случае с помешанным чиновником, которому не удалось получить владимирский крест, отчего он сам, не выдержав «раздора мечты с существенностью»,

уподобился кресту (Афанасьев 153–154). Благосостояние в безопорном мире невозможно, а «у нас, слава Богу, только и видишь, что совершенно довольных и счастливых людей. Глуповатое благополучие, блаженное самодовольство – вот наиболее выдающаяся черта эпохи у нас» (Чаадаев 1991а: 95). Это не что иное как «безумие самодовольства и равнодушие, вдвое безумнее ко всему окружающему» (Чаадаев 1991б: 162), устремленность на иллюзорные знаки достоинства и добываемый окольными путями внешний успех, как это происходит в случае Ковалева.

Гоголь весьма обстоятельно подходил к именованию своих героев, о чем и говорит О.Н. Смирнова: «Он отдавал необычайно много внимания именам своих действующих лиц; он разыскивал их повсюду; они стали типичными» (Эйхенбаум 322). В мире *Носа* утратилась значимость личности и отдельного имени: фамилия цирюльника Ивана Яковлевича утеряна и ее не найти, так же как утерян нос майора Ковалева, как и он сам всегда безупречно застегнутый на все пуговицы; Поприщин самозвано выдвигает себя в испанские короли и самовольно нарекает себя Фердинандом VIII; значительное лицо вообще лишено какого-либо имени, и вместо него осталась лишь одна внушительная, но пустая «значительность». Слова Голядкина, что «люди, носящие маску, стал не редки-с и что теперь трудно под маской узнать человека». (Достоевский 1972: 163) соотносимы и с гоголевским миром, где актерская роль подменила саму жизнь.

В образе майора Ковалева вскрываются дубинные изъяны в человеческой личности, приведшие к распадению на несколько осколков, и дальше отделившаяся часть тела в образе носа вполне разумно в законах безумного мира заявляет о своей независимости: «Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом

между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству» (Гоголь 2009а: III, 46). Слова Ковалева «ведь вы мой собственный нос» (III, 46) неубедительно доносятся до Носа, отстаивающего право на независимость и защищенного силой чина. Ковалев «приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места» (III, 44), но найдя «это свое место» он потерял внутреннее, и «личность распадается и разлагается, причем имя перестает быть ясно сознаваемым коренным сказуемым Я, перестает быть идеальной формой всего содержания личной жизни» (Флоренский 2000: 208). Духовно опустошенная натура самозванцев вроде майора Ковалева, не находящая в себе прочной опоры и уповающая на чиновную иерархию, в один день лишается этого зыблемого фундамента. Человек, лишенный каких-либо перспектив, хватается за единственную возможность утвердиться. Мифологическое отождествление Носа и Ковалева представляет корень самозванства, рисует попытку соорудить вокруг себя крепость и выражает желание «воплощения в том или другом виде» (Короленко 323). Самозванство майора Ковалева продолжается, что видно в финальной сцене, где он покупает «какую-то орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена» (Гоголь 2009а: III, 63). Можно ожидать, что майор Ковалев и впредь будет просыпаться утром и глядеться в зеркало в страхе от очередной пропажи носа и будет беззастенчиво прогуливаться с орденской лентой, так же бесстыдно как он заявлял о себе как о майоре, им не являясь. Неполноценная личность в вымышленном звании майора на самом деле состоит в звании коллежского асессора, полученного обходным путем. Эта аксиома безоговорочно утверждает самозванство Ковалева.

Подобно Ковалеву погранный и униженный Голядкин переживает страшный кризис потери личного «Я», и на протяжении всей жизни унижаемый Яков Петрович в результате становится жертвой притеснений и каверзничества своего же двойника, по-своему говорящего словами носа: «Я сам по себе». Духовный брат самозванцев Гоголя Голядкин, полный стыда за свое невзрачное существование, мечтает войти в мир привилегированных, и для того чтобы хоть как-то почувствовать себя частью мира, из которого его безжалостно выгоняют, копит деньги и с сакральным трепетом, который не может не вызвать сожаления при виде такого обмеления живого человека, пересчитывает ассигнации в бумажнике:

*«Вероятно, пачка зелененьких, сереньких, синеньких, красненьких и разных пестреньких бумажек тоже весьма приветливо и одобрительно глянула на господина Голядкина: с просиявшим лицом положил он перед собою на стол раскрытый бумажник и крепко потер руки в знак величайшего удовольствия. Наконец он вынул ее, свою утешительную пачку государственных ассигнаций, и, в сотый раз, впрочем, считая со вчерашнего дня, начал пересчитывать их, тщательно перетирая каждый листок между большим и указательными пальцами»*  
(Достоевский 1972: 110).

Для стертой личности Голядкина значительная по его меркам сумма, которая по-видимому копилась в многолетних голоданиях, отказываниях себе в мелких удовольствиях, является иллюзией, которая в глазах героя закрепляет связь с высшим обществом. Естественным исходом такого насилия над собой стало состояние

«мышы в щелочке», какой будет себя ощущать и борющийся с этим чувством по-своему Поприщин.

В трагичном мире самозванцы чувствуют себя оставленными и могли бы словами Розанова сказать: «Я не нужен: ни в чем я так не уверен, как в том, что я не нужен» (Розанов 37). И личность страдает и калечится от ощущения своей ненужности, никчемности и изувеченности, ощущение которой возникает после внушительного наставления, вроде того обращенного к Поприщину: «Что ты воображаешь себе? <...> Ну, посмотри на себя, подумай только, что ты? ведь ты нуль, более ничего. <...> Взгляни хоть в зеркало на свое лицо, куды тебе думать о том!» (Гоголь 2009а: III, 162) И вдвойне страшными становятся такие слова, уже много раз прочувствованные и пережитые в своем скромном углу, но постоянно вытесняемые утешениями как «я дворянин», что уже смутно предвосхищает будущие притязания на благородное происхождение, которые в конце выльются в венчании на испанское царство. И для Голядкина, своеобразной тени живого существа, который бы удовольствовался пребыванием «в сенях на темной лестнице», вблизи которой проходит званый обед, самыми страшным является обличение «Стыдитесь, сударь, стыдитесь» (Достоевский 1972: 134). Такие слова как ножом по сердцу Голядкина, которого всю жизнь только и переполняет чувство «стыда собственного существования», породившее крайнее самоуничижение и самоотчуждение: «<...> господин Голядкин глядит теперь так, как будто сам от себя куда-то спрятаться хочет, как будто сам от себя убежать куда-нибудь хочет» (139).<sup>2</sup>

Представляется, что Аксентий Иванов Поприщин каждый день подходил к своему зеркалу, пытаясь присмотреться и увидеть хоть какое-то величие в своем ничтожестве, царские регалии вместо

## 2

Исследователь Ковач считает, что «раздвоение идет в данном случае по линии живых человеческих черт: честности и лицемерия; достоинства и раболепия; подлинных человеческих ценностей (чувства благородства, любви, дружбы и т.д.), с одной, и денег, карьеры, положения в обществе, с другой стороны, именно в этом - в показе расщепления живой человеческой души <...>» (Ковач 65).

гладкого места, которое видит майор Ковалев в зеркале. Видел ли он затоптанного вечного титулярного советника, чинящего перья в желании угодить своему директору, или, быть может, он видел себя в величественной позе могущественного Фердинанда VIII, или же в редкие моменты, когда пелена всеобщего безумства спадала с его глаз, ему представлялся незащищенный в своем одиночестве Аксентий, востосковавший по материнскому лону и взывающий к родным краям, – можно лишь предполагать какие силуэты принимало изображение в таинственном мире зеркала. Не один раз перед зеркалом задавал Поприщин вопрос отражающемуся обличью: «Кто ты? Ты ли это?» Также как в зеркале, «отражение в котором отнюдь не задерживается после того, как от него отходишь» (Тульчинский 381), в сознании Поприщина не задерживается и вовсе стирается понятие, кто он такой. Искаженность – это свойство всех зеркал, изображающих в произведениях Гоголя всеобщее отклонение и изуродованность внутреннего мира.

Восшествие Поприщина на испанский престол – это бунт постоянно унижаемого человека, навсегда лишённого, как и Голядкин, возможности даже не приобщиться, а хотя бы увидеть покои высокопоставленных чиновников; это и необходимое раскрепощение личности, к которому приходит замученный герой, в один момент задавшись логичным вопросом:

*«Что же из того, что он камер-юнкер. Ведь это больше ничего, кроме достоинство; не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан, а так же, как и у меня, как и у всякого; ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет. <...> Отчего я титулярный советник и с*

какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником?» (Гоголь 2009а: III, 169)

Происходит окончательная дезинтеграция собственного я, когда человек сбрасывает как «отрепье свою фамилию Отрепьева», и меняет не только ранг, вовсе выскакивая из вертикали классов и наделяя себя титулом царя, но переименовывает и собственное имя, которое в сознании Поприщина возрастает до восьмой степени. Проявляется незнание себя, но вера в «себя лучшего» и «себя желанного», которая коренится в желании причалить на твердую землю и рисующая Люциферов трагический лик: «Может быть, я сам не знаю, кто я таков. Ведь столько, – говорит Поприщин, – примеров по истории: какой-нибудь простой, не то уже дворянин, а просто какой-нибудь мещанин или даже крестьянин, – и вдруг открывается, что он какой-нибудь вельможа, а иногда даже и государь». (Гоголь 2009а: III, 169) Самозванец чем больше хочет стать другим, тем больше рискует изувечить и потерять себя: свет Люцифера становится тьмой падшего ангела, где «с человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, тем сильнее тянутся его корни к земле, вниз, в мрак, в глубину – во зло» (Ницше 39). Самозванство подрезывает крылья Люцифера и гасит несомый им свет, искажая чистый первообраз, а человека заставляет ходить над бездной – упал в нее в насильничестве сделать себя другим, и личность до поры до времени мелькавшая теряется безвозвратно.

В Поприщине наступил тот глубокий раскол сознания, в процессе которого его имя затерялось, как нечто ненужное, и «Я проявляет себя постоянно сменяющимися и крайне неустойчивыми суррогатами имен» (Флоренский 209). Но в понурившем и сог-



бенном от горя жизни Аксентии и его последнем письме виден прорыв всегда в нем существовавшей личности, которая «знает про себя, в глубине души, что есть истинное, не ворованное имя» (Булгаков 265), также как божественная искра всегда будет присуща возгордившемуся Люциферу. Утрата или искажение еще больше вопит о потребности чистого первообраза, так же как Пискарев, увидевший оскверненный лик прекрасной Перуджиновой Бьянки в проститутке на Невском проспекте, не решает примириться, а пытается вновь возвести потерянную жемчужину на пьедестал божества. После крика души, возвращающего Поприщина к колыбели младенчества, к матери, нарекающей его не кем-либо, а именно Аксентием, «последует полный мрак самозабвения и самоутраты, когда нет и мгновенных словестных сгустков, наполняющих имя» (Флоренский 209).

Полная потеря человеческого имени и лишенность родовой памяти дана в образе значительного лица, обреченного на извечное пребывание в неизвестности. Кто он? Или лучше оно? Представляется нечто бесформенное и неопределенное. Персонаж с полностью снятым именем променял свое бытие на псевдосуществование, находящее опору только в генеральском чине. Значительное лицо – это человек ставший тенью, безликое лицо, характерной чертой которого является напускная значительность, самозванец вроде майора Ковалева, дослужившийся до высокого чина, усваивающий перед зеркалом, каким голосом он будет внушать страх и повергать в трепет подчиненных. Представим жизнь значительного лица: он начинал как какой-то титулярный советник в департаменте, где на него смотрели уничижительно, как на Поприщина. И, наверно, не одно распекание со стороны высокопоставленной особы вынес он на своем веку. Но, имея це-

леустремленность и упорство свойственное Чичикову и Акакию, после нескольких десятилетий починки директорских перьев и увиливаний перед начальством он все-таки сумел выбиться в люди и получить генеральский чин. Дойдя до всегда желаемой должности, он выдвигает «строгость, строгость, строгость» главным основанием своей системы, которая наряду с страхом и внушительностью, становится главной регалией его самозванной власти. Хлестаков начал орать и распекать, и в этом были увидены атрибуты власти, сделавшие его в глазах жителей уездного города ревизором. Он сам как значительное лицо поверил в силу своей поражающей наповал природы: «Оробели? А в моих глазах, точно, есть что-то такое, что внушает робость» (Гоголь 2009а: IV, 269). В словах значительного лица, которыми он уничтожает своих подчиненных «Как вы смеете? знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами» (IV, 137), кроется бессилие, выдающее себя за могущество, слабость, прячущаяся под обликом величия, подобно Емельяну Пугачеву обреченному «скрывать от приближенных свою спину, навсегда исполосованную кровавыми рубцами плетей» (Короленко 330), подобно расстриге Лжедмитрию, боявшемуся раскрыть некогда безропотного Гришку Отрепьева, – представлен человек только и имеющий свою значительность, которая сотрется и исчезнет так же легко, как поймают самозванца носа с его подложным паспортом. И сам Ковалев мог бы словами Голядкина обратиться к своему самозваному носу: «А самозванством и бесстыдством, милостивый государь, в наш век не берут. Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, а до петли доводит. Гришка Отрепьев только один, сударь вы мой, взял самозванством, обманув слепой народ, да и то ненадолго» (Достоевский 167).

## 3

Весьма тонко оценил эту сцену Юрий Манн, при этом объясняя, что «если подумать, из какого источника вышла эта просьба, то мы почувствуем в ней стремление к чему-то «высокому», к тому, чтобы и ему, Бобчинскому, как-то, говоря словами Гоголя, «означить свое существование» в мире. <...> Форма этого стремления смешна и уродлива, но иной Бобчинский не знает» (Манн 213).

Память имени не покидает даже Добчинского, просящего Хлестакова заступиться за своего незаконнорожденного сына, чтобы сын его «уже был совсем, то есть, законным моим сыном-с и назывался бы так, как я: Добчинский» (Гоголь 2009а: IV, 272). Трагедия Добчинского состоит в том, что это вовсе не его сын, как утверждает Артемий Филиппович, но тем не менее он хочет дать ему имя, представляющее знак личностного существования, последнюю нить, удерживающую человека в жизни, что представляет своеобразное памятование имени во времени. И для читателя уже «другим светом осветилось» (IV, 58) лицо шута Добчинского. Радение о своем имени не покидает его сиамского близнеца Бобчинского, жителя убогого в своей отдаленности города, желающего отметить свое существование через присутствие своего имени в Петербурге:

*«Я прошу вас покорнейше, как поедет в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Добчинский» (IV, 273).*

Желание выйти из тьмы неузнанности захолустного городка, сохранить свое имя в воронке времени и докричать его до Петербурга лучится сквозь образ Добчинского.<sup>3</sup> Времени в обрез: перед ним стоит государственный муж, пришедший карать и миловать, который может донести скромное имя Добчинского до самых потаенных верхов власти, и это, быть может, единственная возможность заявить о своем неприглядном существовании. Но

многим героям, помимо уже некоторых упомянутых, свойственно полное забвение и растление своего собственного имени, вплоть до отречения от матери и поругания ее, как это представлено в персонаже Яичнице, который говорит: «Да что делать? Я хотел было уже просить генерала, чтобы позволил называться мне Яичницын, да все отговорили: говорят, будет похоже на “собачий сын”» (Гоголь 2009а: IV, 332). Распад личности происходит от порчи, поругания, уничтожения и обесмысливания собственного имени, а «имя есть слово, слово человека о человеке» (Булгаков 256).

Гоголь сам объяснял, что все самоуправства, притеснения, обожествление чина и любое отклонение от нормы происходит от всеобщего ослепления «зачем я не на их месте», а это приводит к тому, что каждый «старался или расширить пределы своей должности, или даже вовсе выступить из ее пределов. Всякий, даже честный и умный человек, старался хотя на один вершок быть полномочной и выше своего места» (Гоголь 2009а: VI, 60).<sup>4</sup> Так это желание привело к тому, что в значительном лице затерялся человек, но после пережитого потрясения, появляются проблемски некогда живой личности, также как в городничем время от времени мелькают человеческие черты, «но велик соблазн того, что плывет в руки» (Гоголь 2009а: IV, 474), и велика набившаяся привычка. Но путь лишь намечается, и камнем преткновения стали для Гоголя и Мертвые души, которые должны были показать чаемое Гоголем обращение человека на истинный путь.

В Ревизоре самозванство становится всеобщим законном расколовшегося мира, подобно треснувшему пополам зеркалу, и смутно представляются лики настоящего и мнимого ревизора в раздваивающемся зеркале. Ставится значительный вопрос: существует ли в мире Ревизора человек, не выдающий себя за

## 4

«Как же происходит это извращение добра в душе человека? – спрашивает Мочульский. Главная причина заключается в болезни нашего времени, во всеобщем недовольстве. Каждый хочет быть не тем, что он есть; отсюда путаница, вихрь недо-разумений, раздоры и всевозможные пороки» (Мочульский 84).

кого-то другого и не стремящийся казаться другим – только слуга Хлестакова Осип, да и тот явно не на своем месте: слуга своей трезвостью и умом подучает барина. Вся верхушка города стоит у дверей Хлестакова, и каждый дожидается своего момента быть представленным, переживает смешанное чувство страха со сладостным трепетом близости высокопоставленной особы, само присутствие которой для него является олицетворением власти и делает ближе к ней. И вот, эта власть тут, перед ними: «В жисть не был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со страху» (IV, 258), – говорит Бобчинский.

И городничий уже видел себя с первым домом в столице, с голубой лентой и генеральским чином, окруженный министрами и заставляющий где-то в передней дожидаться его какого-то городничего. «Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом» (IV, 294), – восклицает городничий в апогее самозванства. Анна Андреевна, уже упоенная картинами новой жизни и претендующая на аристократические манеры, требует от городничего не тратить времени попусту на обещания для этих людишек, некогда может быть и друзей, на что ей городничий отвечает: «Почему ж, душа моя: иногда можно» (IV, 294). Можно от напыщенности, от сознания своего новообретенного величия, от своей новой уполномоченности вершить суд и расправу, от более широкой возможности распекать других и уже не дрожать как осинный лист при приезде нового инкогнито. Он сам им станет. Тем страшнее для него весть, что Хлестаков не ревизор, – значит, и он не генерал и вряд ли когда-либо будет. А очень хочется! Самозванец городничий, и любой другой самозванец, переживает танталовы муки, когда уже рукой подать до плода, но происходит отдаление и навеки теряется бывшая рядом мечта, уже почти осуществлен-

ная, – это закономерность мира, о которой не раз писал Гоголь: «Что ж за несчастье такое, скажите, – всякой раз, что как только начинаешь достигать плодов и, и так сказать, уже касаться рукой <...> вдруг буря, подводный камень, сокрушение в щепки всего корабля» (IV, 469). Городничий, обманувший страшного ревизора и побратавшийся с ним, наконец-то почувствовал твердую почву под своими ногами, но вот – обрыв, и он тонет в болотной трясине, и это чувство он сам объясняет: «Просто как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить» (IV, 259).

Самозванство тем и страшно, что оно возносит, и возносящийся сохраняет понимание, что «он не тот», а если нет – то разложение личности неминуемо, откуда возникает беззаветная вера в чин, должность, звезду, царские регалии, потери которых равносильны собственному погублению. Народ безмолвствует, но это безмолвие страшным гулом отзванивает в голове Отрепьева и предрекает будущее разоблачение; перед взором низвергнутого в бездны ада Люцифера проносится картина лучезарного ангела, восседающего на божественном седалище. И тем более бездонна тоска самозванного Бога. Чувство, переживаемое Отрепьевым во сне и предвещающее будущее падение, близко к состоянию осмеянного городничего и любого развенчанного самозванца вместе с ним:

Внизу народ на площади кипел  
И на меня указывал со смехом,  
И стыдно мне и страшно становилось (Пушкин 1950: V, 233)

Невольный самозванец<sup>5</sup> Хлестаков своим чистосердечием и откровенностью более очевидно раскрывает основы заложенного в каждом самозванстве, время от времени проявляющегося, и на

**5** Федор Бухарев весьма проникательно заметил, что особенность Хлестакова в спонтанности и непреднамеренности его самозванства: «С этим пустым ревизором, почти невольным самозванцем, незримо идет другая высшая ревизия, пред которой обнажилось все духовное состояние всех лиц комедии, все стремление их от своего долга и дела жизни» (Бухарев 146).

примере ветреного человека наглядно показано перевоплощение из «никого» во «все». Хлестаков, из пожизненно распекаемого коллежского регистратора дошедший до власти предержавших, заставил других поверить в свою сановитость непринужденностью и неосознанным игранием роли, что обернулось его силой, ведь каждый самозванец осознанно выдает себя за другого и пытается им казаться. Сановник в образе Хлестакова или Хлестаков, становящийся сановником – варианты одной и той же реальности. И разве не хлестаковщиной разразится новый ревизор, внезапный приход которого увенчивает комедию? Невежество, непросвещенность, захолустная забытость и духовная забитость, но и ожидание надвигающейся грозы делает Хлестакова ревизором, и самое важное место занимает *вера* всех героев в «ревизорство» Хлестакова и *желание*, чтобы он соответствовал отведенной ему роли. Суеверие и непросвещенность людей, проявляющиеся в безоговорочной вере, кладут корону на голову самозваного царя: на вопрос о Емельяне Пугачеве получаем ответ: «Он для тебя Пугачев, а для меня он был великий государь Петр Федорович» (Пушкин 1951: VIII, 165). И прав был Достоевский своим ироническим утверждением, что городничий «хоть Хлестакова и раскусил, и презирает его», тем не менее «так и остался до сих пор в той же самой уверенности про арбуз», «рад хоть и в арбузе почтить добродетель» (Достоевский 1981: 11). Вначале для городничего Хлестаков представляется как «невзрачный, низенький, кажется ногтем бы придавил его» (Гоголь 2009а: IV, 244), но легко принаравливающийся Хлестаков, не понимая и без задней мысли, надевает ризу высоко уполномоченного инкогнито, и он уже вызывает страх и трепет. Каждый поступок, каждый жест, каждое слово облачается силой и могуществом, тайным смыслом носителя власти, хотя бы и мнимой, но для других легитимной,

потому что сама власть, пришедшая ниоткуда и ушедшая неизвестно куда, есть тайна. Создается несоответствующее положение, при котором ревизирующий несколькими чинами ниже ревизируемых и предрешает их дальнейшую судьбу. Происходит взаимозаменяемость верхов и низов власти: чернец, ставший царевичем, мужик Пугачев, самонареченный царем, ангел, возвысившийся до Бога.

Тему самозванства Гоголь по-своему открыл, скорее брал ощупью, и это явление в его героях вычерчивало свои узоры и принимало новые витки, по-новому после Пушкина освещая данную тему и пролагая дорогу к Достоевскому, психологически раскрывшему потаенные и неиссякаемые родники самозванства. Гоголь следовал своему безошибочному чутью, которое с религиозно-философских позиций было и поныне является крайне недооцененным и иногда несправедливо оспариваемым, чутью, которое заставляло брать предмет и не выпускать его из рук пока он не будет изучен вдоль и поперек. Гениально оценил Гоголя Бердяев, тонко проникая в проблему самозванства: «Не его вина, что в России было так мало образов человеческих, подлинных личностей, так много лжи и лжеобразов, подмен, так много безобразности и безобразности. Гоголь почти нестерпимо страдал от этого» (Бердяев 575)

Единственным преодолением самозванства является путь, о котором говорит апостол Павел: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, став послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2: 6). Смиреномудрие существа равного богу и уподобившего себя рабу прямо противоположно вознесению Люцифера: тот, кто выше, сделал себя ниже. Но смирение также грозит разразиться неслыханным самозванством, гордыней в обла-



чениях смирения, оттуда и знаменитое «смирение паче гордости»: происходит любовное умиление своим «падшим я», ведь легче уничивать самого себя, чем принимать укоры отвне.

Каждый человек на протяжении своей жизни проходит через разные этапы самозванства в поисках себя и своего места, в алкании устойчивости и в желании преодолеть случайность. Но в этих поисках за отсутствием «чего-то своего» и невозможности найти это происходит полное отождествление с другим, что приводит к дальнейшему вышелушиванию и выеданию сердцевины. Необходимо самотворение себя, а не зыбкая подмена себя другим: после дуновения ветра карточный домик рушится. «Примером для личности может быть она сама и только она сама <...> Единственность каждой личности, ее абсолютная незаменимость ничем другим – она требует, чтобы сама личность была примером для себя», – утверждает Флоренский (Флоренский 231). Но самозванство вечный и неизбывный спутник человека как «тень Люциферова крыла», оно иногда и необходимо, но лишь как остановка на пути к раскрытию тайн индивидуальности и черт особливости: с огнем надо осторожно, не ровен час здание может загореться. Кто знает, может быть, и данная статья является неизжитым грехом самозванства, жертвой которого пал автор, желая заявить о себе и, может быть, по-своему взглянуть на поставленным вопрос. Может быть, – в таком случае он искренне просит не прогневаться на него за такой грех. ♡

## Литература

- АФАНАСЬЕВ, А.Н., 1954: Отрывки из моей памяти и переписки // Щепкин, Михали Семенович: *Жизнь и творчество*. Т. 2. М. ГАРФ. Ф. 279 (Якушкины). Оп. 1. Д. 1060.
- БЕРДЯЕВ, Н.А., 2009: Гоголь // *Гоголь. Н.В. Pro et contra*. Т. 1. Сост., вступ. статья С. А. Гончарова, коммент. Н. Н. Акимовой и К. Г. Исупова. Спб.: РХГА.
- БУЛГАКОВ, С.Н., 1998: *Философия имени*. Спб.: Наука.
- ГОГОЛЬ, Н.В., 2009а: *Полное собрание сочинений и писем в 17 томах*. Составление и подготовка текстов Виноградов и Воропаев. М.-Киев: Издательство Московской Патриархии.
- ГОГОЛЬ, Н.В., 2009б: *Полное собрание сочинений в 23 томах*. Т. 3. М.: Наука.
- ДОСТОЕВСКИЙ, Ф.М., 1972: *Полное собрание сочинений в тридцати томах*. Т. 1. Л.: Наука (Ленинградское отделение).
- ДОСТОЕВСКИЙ, Ф.М., 1981: *Полное собрание сочинений в тридцати томах*. Т. 22. Л.: Издательство Наука (Ленинградское отделение).
- КЛЮЧЕВСКИЙ, В.О., 1988: *Сочинения в 9 томах*. Т. 3. М.: Мысль.
- КОВАЧ, А., 1976: *Достоевский // Достоевский Ф.М. Материалы и исследования*. Исследования 2. Л.: Наука.
- КОРОЛЕНКО, В.Г., 1914: *Полное собрание сочинений*. Т. 3. Спб.: Издание т-ва А. Ф. Марксъ.
- ЛЕРМОНТОВ, М.Ю., 2000: *Полное собрание сочинений в 10 томах*. Т. 4. Художник С.В. Богачев. М.: Воскресенье, 2000.
- МАНН, Ю.В., 1987: *Поэтика Гоголя. Вариации к теме*. М.: Художественная литература.
- МОЧУЛЬСКИЙ, К.В., 2004: *Духовный путь Гоголя*. Сост. И.Ф. Владимиров. М.: Наш дом-L'Age d'Homme.

- НИЦШЕ, Ф., 2004: *Так говорил Заратустра*. Перевод с немецкого Ю.М. Антоновского. М.: ИФ РАН.
- ПЕРЕПИСКА, 1979: *Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским*. Текст подготовили Я.С. Лурье и Ю.Д. Рыков. Л.: Наука.
- ПУШКИН, А.С., 2008: Письмо к издателю «Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду» // *Гоголь в русской критике: Антология*. Сост. С. Г. Бочаров. М.: Фортуна ЭЛ.
- ПУШКИН, А.С., 1950, 1951: *Полное собрание сочинений в десяти томах*. Т. 5., Т. 8. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР.
- РОЗАНОВ, В.В., 2010: *Собрание сочинений. Листва*. Под общ. ред. А.Н. Николюкина. М.: Республика, Спб.: Росток.
- СМИРНОВ, И.П., 2004: *Самозванство и философия имени* // Звезда 2004, № 3.
- ТУЛЬЧИНСКИЙ, Г.Л., 1996: *Самозванство. Феноменология зла и метафизика свободы*. СПб.: Изд-во РХГИ.
- ФЛОРЕНСКИЙ, П.А., 2000: *Сочинения. В 4 т. Т. 3(2)*. Сост. игумена Андроника (А. С. Трубачева), П. В. Флоренского, М. С. Трубачевой; ред. игумен Андроник (А. С. Трубачев). М.: Мысль.
- ФЛОРЕНСКИЙ, П.А., 1990: *Столп и утверждение истины. Т. 1*. М.: Правда, 1990.
- УСПЕНСКИЙ, Б.А., 1996: *Избранные труды, том I. Семиотика истории. Семиотика культуры, 2-е изд., испр. и доп.* М.: Школа «Языки русской культуры».
- ЧААДАЕВ, П.Я., 1991а: *Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 2*. Составление и комментарии С.Г. Блинова, Л.З. Каменской, З.А. Каменского, М.П. Лепехина, В.В. Сапова, М.И. Чемерисской. М.: Наука.

ЧААДАЕВ, П.Я., 1991б: *Избранные сочинения и письма*.

Составление, вступительная статья и примечания В.Ю.

Проскуриной. М.: Правда.

ЭЙХЕНБАУМ, Б.М., 2008: Как сделана шинель Гоголя // *Гоголь в русской критике: Антология*. Сост. С. Г. Бочаров. М.: Фортуна ЭЛ.

БУХАРЕВ, А.М. <Архимандрит Феодор>, 2008: Три письма к Н.В. Гоголю, писанные в 1848 году // *Гоголь в русской критике: Антология*. Сост. С. Г. Бочаров. М.: Фортуна ЭЛ.

## Резюме

Статья посвящена осмыслению феномена самозванства в творчестве Гоголя как культурологической и психологической составляющей, представляющей определенный архетип, который ведет истоки со времен Люцифера. Явление самозванства появляется в Борисе Годунове Пушкина, рисуется Гоголем в красках обыденщины, и психологически закрепляется Достоевским. Преследуется задача показать, что самозванство, отождествляемое порой с великими притязаниями самопровозглашенных царей у Пушкина, облекается в формы серого цвета и самозванцев мелкого почина лишенных какого бы то ни было величия у Гоголя, и в результате принимает окончательные формы духовной мелкости у Достоевского. Самозванство нерасчленимо связано с каждым человеком, хотя бы один период, одно время, одну минуту, один миг выдававшего за другого и подобно Хлестакову в делириуме теряющего здоровое понятие, кто он есть на самом деле. Такое хождение по обочине между я и не-я постоянно угрожает срывом в бездну, из которой человек может не вернуться.

## **Лазарь Милендиевич**

*Лазарь Милендиевич, преподаватель на филологическом факультете Белградского университета. Основной интерес представляет религиозно-философское и поэтико-символическое осмысление творчества русских писателей. Участвовал на международных конференциях, посвященных Андрею Белому, Николаю Гоголю, антиутопии и событиям в культуре и литературе. Работы опубликованы в сборнике Славистика, Матицы сербской, а также в сборнике «Арабески Андрея Белого». Ряд других работ находится в печати.*